Виктор Брюховецкий

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАССКАЗА

Судьба свела нас на халтуре, вернее, на заработках. Халтура — это когда как попало, мы же приехали за полторы тысячи верст работать, и слово это к нам никак не подходило. Это была работа.

Нас шестеро, мы из Ленинграда, нам нужны деньги, а деньги платят за работу, и мы работали. Предварительно списались с председателем колхоза и теперь строили коровник. Жуткое это дело, особенно фундамент.

После первого дня я отказался от ужина и заснул не разуваясь. Инженерик. Пришел в себя только к концу первой недели, и то, если по правде, не совсем. Так, наполовину, но уже соображал. Рабочий день не по часам — по свету, от зари до зари. А еще через неделю ездовой из местных в баню нас пригласил. Он работал водовозом, возил на бричке воду в кадке — для фермы. Сам на козлах, а бочка на пассажирском сидении прилажена. Иногда он возле нашей фермы останавливался на работу нашу поглазеть да покалякать, а потом и пригласил.

С баньки этой все и началось.

Банька была славная, протоплена хорошо, с дымком. Хозяин ее, водовоз, лет уже был преклонных, но на вид крепкий. Фамилию носил красивую, казачью — Есаулов. Сперва он веником нас отхлестал, а уж потом себя начал. Ухнул воды на каменку, крякнул и пошел жарить в две руки, мы только переглядывались. Поинтересовались, сколько же годков папаше.

— К семидесяти, сынки, к семидесяти...

— Хорошее здоровье, отец.

— Да-а... Бог миловал. Батя за сто прожил и мне наказывал...

Ну и дед, ну и водовоз!

Еще в предбаннике, когда раздевались, я обратил внимание на правое его плечо, на шрам. Глубина его и форма, в виде воронки, подсказывали — Есаулов воевал. Я таких шрамов в детстве в банях насмотрелся — на всю жизнь хватит. Пулевые, осколочные, ножевые — всех сортов. Это была осколочная, глубокая и с вывертом. Судя же по тому, как он нас хлестал, кости у деда в плече не были ломаны либо срослись хорошо.

Потом мы пили чай у него дома. Есаулов жил один. Чай пили с брусничным вареньем. А еще после пили водку, по чуть-чуть, по стопочке, под свежие папашины огурцы. Для знакомства. Водка была наша, еще в Ленинграде купленная на всякий случай. К водке мы и палтуса прихватили, копченого, целую штуку. Папаша от рыбки сомлел, а нам приятно.

— Вашего брата, халтурщиков, кажин год здесь бывает, так я всех в бане мою... Да-а. То хранилище строили, там, за Тополями, — Михаил Ерофеевич (так, кстати, звали Есаулова) махнул рукой в сторону окна, как бы указывая, где они, эти Тополи, — то хранилище, теперь вот коровник...

Две бутылки водки на семь человек — не очень густо, но папаша спьянел. Не так чтобы, но покривел…

Во-первых, в годах мужик, не нам чета, а, во-вторых, стопки мы ему наливали пополней, по-русски, уважительно. А дед пил. Крякал, как в бане на полке, и пил.

Разговор покружил немного вокруг коровника, около наших заработков и перешел на Сталина.

Есаулов был за вождя. А мы не спорили, старшой было попытался, но дед возвысил голос и скомандовал:

— Все, что пишут в газетах, — брехня!.. Читать противно, да-а... Сталин был за мужиков...

Ну охренел, похоже.

— Да за каких мужиков? Он их на канале да в колхозах перегноил, а потом еще и в войну угробил.

— Э-э! Нет! Ты молод, — это он мне, — ты молод, парень, про войну-то... Сталин сына своего не пожалел? Не пожалел... Вот!  Сына не пожалел, а?

Сшибало, что Есаулов споры такие водил не однажды и Якова как туза козырного спорщикам показывал сразу, - нате, мол, смотрите, это вам ни в жисть не перешибить.

Ну как ему было все объяснить, да и стоило ли?

А Михаил Ерофеевич тогда разоткровенничался. То ли от водки, то ли от нутра своего природного. А может, палтус сработал.

 — Я до самого Берлина дошел. Всю войну... Всяко повидал, да-а... Вот вы мне, вот вы скажите, сколько немцев одной пулей можно прострелить?

Мы переглянулись.

— Это как — одной пулей?

— А просто... Поставить в колонну, и ба-бах!

— Ну, отец, у тебя и вопросы.

— О, молодые, значитца. Не знаете. А прострелить можно только двоих, ну и еще половинку. Не берет наш автомат трех... не берет, да-а...

Показалось, что он сожалеет о том, что автомат такой слабый.

 Мы умолкли.

Есаулов сидел во главе стола, лысый, смуглый, с крючковатым носом, как уставшая хищная птица, и я осознал своими чуть-чуть алкогольными мозгами, что дед этот не только верит в Сталина...

— Вы что, Михаил Ерофеевич, видели это со стороны или сами...

— Сам! Нешто со стороны... Повел пленных в штаб, полдороги провел и убил. Поставил в колонну и убил. С одного выстрела...

— А зачем?

— Убил — и все... Пленные ведь...

— Один?

— Что — один?

— Вы были один?

— Нет, с напарником. — Он замолчал. И тут же, словно спохватился. — А что это ты про напарника?

— Да так, интересно... — Я смотрел на него, и мне показалось, что дед вроде как протрезвел. Ну это только вроде, а там как узнаешь?

В ту ночь я не заснул. Алкоголь прошел, да его и было негусто, в голове прояснилось. Об этих штучках армейских я слышал не однажды, но все с чужих слов, а тут сам исполнитель. Может, врет? А что напарник? Я ворочался, искружил себе все бока. Чертов дед! Однако делать было нечего, нужно было вставать и брать перо.

Около пяти утра я встал, взял ручку, бумагу и перешел в другой класс. Жили мы в сельской школе. Старенькая такая, деревянная одноэтажечка. Сюжет рассказа, который предстояло писать, уже сформировался. Начинало зариться, я пристроился к окну и написал первые слова. Я написал: «Пуля пробивает двоих и застревает в третьем. Ей не хватает силы. Убойной...»

Перечитал — нормально. Пожалуй, так и будет...

Наш старшой — Олег Тарунин — нашел меня в половине седьмого.

— Ты чего, Сергей?

Я взмолился:

— Олег, пишется... Дай отгул.

— Обурел? Какой, к черту, отгул? На заводе, что ли? Брусья нужно заводить...

Он посмотрел на исписанные мной листы и ушел. Вернулся минут через пять.

— Ну ты даешь! Ладно, пиши... Условие такое: вечером читать будешь, понравится ребятам — отгул, не понравится — прогул, — и руками развел. — Ребята решили, я ни при чем.

— Годится, Олег... Годится. — Я знаю, что это с его подачи. Жучара!

В конце концов пусть будет прогул, если пишется, то нужно писать, отложишь на потом — и все. Потом это уже не придет, если и придет, то совсем не так — и звук не тот, и вкус. С другой стороны, прогул мне совсем ни к чему. Это, если на круг, рублей на сорок потянет. Заводской аванс!..

Вечером, после ужина, я читал ребятам свой рассказ. Жюри расселось за парты и замерло. Рассказ был сырой, перебелить бы его, но некогда.

Волнуясь и хрипя, я начал:

— «В степи. Рассказ. — Сделал паузу. — Пуля пробивает двоих и застревает в третьем.

Ей не хватает силы. Убойной...»

Через минуту примерно окинул глазами ребят и понял: слушают. Голос мой окреп, хрипота прошла, и корявости некоторых фраз я правил уже на лету. Потом вспомню, если что.

Рассказ был короткий, и прочитал я его быстро. Когда закончил, то заговорили все. Когда все — это хорошо.

—Ну, давайте первое: отгул или прогул? — это Олег.

 Посовещались, поспорили и присудили (с натяжечкой!) — отгул.

А потом началось — почему так, почему не эдак! А откуда ласточка в степи? Если ласточка, то и вода должна быть, если уж не  река, то хотя бы озеро...

С водой справились тут же сообща — вот там, где дорога изгибается, пусть она и подойдет к речушке. А что? Вполне убедительно. Если дорога крюк делает, то всегда к воде.

— И все-таки что-то здесь не так, — это опять Олег. Он у нас не только по должности старший, но и по возрасту. К его советам я прислушиваюсь. — Не так здесь что-то, Серега. Хотя, конечно, похоже на правду... Слушай, есть идея: отдай рассказ почитать водовозу!

— А что?! — почти хором подхватили ребята.

— Не, мужики. У меня почерк, — я скривил губы, показывая, какой у меня почерк, — сам путаюсь. Пахан не осилит, это не веником.

Олег взял листы, повертел в руках. — Оно, конечно... А жаль.

 На том и спать пошли.

Ребята уснули, а я опять без сна. Олегова идея гнала меня к столу, но я не пошел. Не пошел, и все. И уснул. И правильно сделал. На завтра отгула не было.

Рассказ я белил три вечера подряд. Писал почти печатными буквами, для водовоза старался. Так увлекся, что и про речку забыл. Потом уже вспомнил, но приписывать не стал: дед, поди, не поймет. Подумаешь, ласточка...

Есаулов к моим листкам отнесся подозрительно, но взял.

— Я здесь, Михаил Ерофеевич, случай тот описал... Ну что вы говорили... Ну про то, как одной пулей...

— Нешто интересно? — Дед сощурил глаза. — А?

— Да так, — я уклонился от ответа. Наверно, вот так он и на напарника смотрел. Там, в степи. Колюче, с прищуром. А может, не так.

— Писака, значитца. Пушкин, што ль?

— Да пробую... Написал вот и сомневаюсь: сшибает на правду или нет? Вы, Михаил Ерофеевич, похожее пережили, может, что и подскажете?

— Ну как же... подскажете. Прицелился — и вся подсказка...

 Ох и дед!..

Подходя к школе, я оглянулся: у водовоза в горнице горел свет. Читает, нет? Может, бросил мои листки куда-нибудь в угол и забыл тут же. Мне очень уж хотелось, чтобы он их прочитал, и я представил, как он будет это делать. Разложит, поди, на столе листки, очки наладит — они у него, наверно, с резиночкой через затылок, чтоб не сваливались, — и, шевеля по-стариковски губами, станет читать:

В степи.

*Рассказ*.

Пуля пробивает двоих и застревает в третьем. Ей не хватает силы. Убойной...

Широкими, обезумевшими глазами напарник Есаулова смотрит на рухнувших пленных, судорожно передергивает кадык, восторгается:

— Ишь ты... В бою бы так... — это он с перепугу.

— В бою так не бывает... Помоги-ка!

Автоматчики волокут тела в канаву. Солнце палит немилосердно. Один из расстрелянных, третий, в котором застряла обессилевшая пуля, жив, и Есаулов, не целясь, навскидку проводит короткой очередью по его тронутым смертью выпуклым зрачкам. Затем, так же молча, он ступает на дорогу и направляется в сторону, откуда только пришел. Напарник идет за ним. Стоит июль.

 Где-то высоко над головой, в самой слепящей синеве, куда и глядеть больно, полощется жаворонок, такой неуместный в этот час, и трель его сыплется прямо на дорогу под кирзовые стоптанные сапоги двух солдат, неспешно идущих в сторону глухо ворчащего фронта. Обочь, над степным бездорожьем, параллельно проселку движутся три души. Они только что стали бездомными, вышли из убитых и теперь следуют за автоматчиками. Зачем они за ними идут?

Есаулов коренаст, невысокого роста, рябой. Оспины неглубокие, светлыми пятнышками. На вид ему лет двадцать семь. Сбитые сапоги и выцветшая гимнастерка, ладно обтягивающая плечи, выдают в нем вояку. Руки длинные, сильные, нос горбатый, скулы, прожаренные солнцем, буры — крупными красными пятнами, а по ним оспины. Хмельной русый чуб вылез из-под пилотки и свалился на правую бровь. Жарко.

Напарник Есаулова совсем пацан. У него голубые глаза и черные волосы. Волосы жесткие и короткие, торчат из-под пилотки, как проволока. Сапоги на нем тоже старые и гимнастерка выгоревшая, но во всей его фигуре, такой долговязой и ломкой, даже неопытный глаз и тот определит молодого. Шику есауловского нету. Он из пополнения, из учебки. Вообще-то он сибиряк, из охотников. Ну, это к слову...

На смену безумию всегда приходит раскаяние. А поступок Есаулова воистину безумен. Что двигало им, когда он, ни слова не говоря напарнику по конвою, поставил пленную тройку в плотную колонну, отступил со спины на пять шагов и одиночным из автомата повалил их прямо на дорогу? Проверил убойность автомата? Вот, проверил... Что теперь? А что — что теперь? А теперь ничего, теперь совесть собственная, три бездомных души, напарник и долгая дорога назад... Стоптанные подошвы солдатских сапог наступают на осколки рассыпающейся жаворонковой трели, дробят их еще на более мелкие хрусталики, а птица все сыплет сверху и сыплет, и кажется, что это не кончится.

Степь. Голая. Никого! Жаворонок, два автоматчика да эти души, что движутся, почти касаясь запыленных листьев лопухов и поникших от жары колючих головок татарника. Доколе им идти? Тела остались в канаве, а души — вот они, протяни руку, и достанешь. Есаулов с напарником их не видят. Так устроено. И те, и другие молчат. Души говорить не могут, а автоматчикам говорить пока не о чем.

Если говорить, то о чем?

Есаулов облизывает пересохшие губы, перекидывает автомат с плеча на другое, криво усмехается:

— В бою так не бывает... да-а...

У жаворонка что-то ломается, должно быть, струна лопается. Смолкает трель, и сразу начинают отчетливо работать в траве кузнечики — то часто: цык-цык-цык, то  протяжно: цы-ик, цы-ик...

 Солнце переваливает за полдень, самое пекло, а двое идут и идут, и кажется, что конца их пути не будет. Фронт рокочет, глухо ворочается и медленно перемещается влево. Это так кажется. На самом деле это дорога уходит вправо, к речушке забирает, а фронт все там же.

Да... Фронт там же. И там же, в той же землянке, сидит, наверно, сейчас Шаповалов, командир шестой роты, капитан. Утром говорил:

— Ты, Есаулов, — говорил, — там, в штабе, так и скажи: не сопротивлялись, мол, сами сдались. Пусть допросют, а там уж как порешат. Сам вертайся, к вечеру обернешься. Должон...

Пленных было трое, привели ночью из поиска. Разведка в поиск, а они навстречу с поднятыми руками. Бывает же... Двое грубых, заматеревших, а третий — сосунок. Глаза светлые и выпуклые, как у коровы. Напарника в сопровождение Есаулов выбирал сам, из пополнения. Молчун попался, ну да бес с ним, Есаулов и сам-то не больно разговорчив. Полдороги молча прошли, теперь вот назад развернулись. И опять молчком. Сопроводительная бумага, что утром на скорую руку написал капитан, лежит у Есаулова в нагрудном кармане рядом с аккуратно свернутой для раскурки газеткой. Есаулов о той бумаге забыл, лезет за газеткой в карман и машинально вынимает записку. Разворачивает, смотрит и, сминая ее в кулаке, косится на молодого. Молодой о записке знает, присутствовал, когда Шаповалов ее передавал. Глаза их встречаются.

О чем может сказать один взгляд, даже если он быстр, как молния? О, один взгляд может сказать многое...

 Есаулов (думает): «Зачем я его взял с собой? Чертова кочерга... (Так он в мыслях называет напарника). Один бы справился...»

Кстати, еще утром он и не думал убивать пленных. Он думал отвести их в штаб и сдать. Мысль одной пулей убить троих пришла ему в голову дорогой. Хотя ведь как сказать — дорогой. Вообще-то эта мысль в его мозгу, как ржавый гвоздь в горбыле, сидела с самого начала войны, с первого расстрела пленных. А что? Если пленных расстреливать одной пулей нескольких, то что в этом плохого? Они наших очередями, а мы бы ихних одиночными... Хорошо бы, конечно. Но тут вопрос: сколько ставить на выстрел - троих, четверых? А может, пуля и пятерых прошьет? Попробовать бы, а тут и случай как раз — что надо, пленные — вот они, рядом! Зашевелился ржавый гвоздь в горбыле, невмоготу Есаулову стало...

 Теперь Есаулов знает: с пяти шагов пуля пробивает двоих. Слабые пули, однако...

Напарник (думает): «Зачем он меня взял с собой? Зачем он вообще это сделал? А быстро-то как, так он и меня убьет... Запросто. Странный тип, убил и молчит. Старлей в учебке про такие вещи не говорил, старлей говорил, что наши солдаты самые гуманные, без суда ни-ни, а вот фашисты — это звери. Что же получается-то?»

Есаулов: «Перед Шаповалом выкрутиться можно будет. Можно сказать, что расписку в штабе не дали — забыл спросить или еще что, можно чего-нибудь придумать: про побег там, про налет... А что Кочерга? Болтанет — и крышка, кокнут как самосудчика».

Он сворачивает цигарку и раскуривает ее.

«Вот чертова незадача. Напрасно, пожалуй, я их стрельнул, да уж больно случай хороший. Их ведь все равно шлепнули бы, как и тех. «Тех» тоже из поиска притащили, двоих, правда. Головня вон поболтал на ихнем минут двадцать и руками развел — рядовые, бестолковые, ни хрена не знают. Талдычут одно — Гитлер капут, капитулирен. Ну и что? Свели их утром на зорьке в рощу березовую и «капитулировали». Тайно и быстро, чтоб особисты не пронюхали. Жаль, Головню убили, он бы и с этими поговорил, тоже небось ни черта не знают, не из генералов. А вообще-то их ведь все равно шлепнули бы. Ну не на дороге, так за штабом, в кустах каких-нибудь, в логу. Подумаешь, суд, трибунал, они вон наших без трибуналов чикают, а мы что, хуже?»

Есаулов успокаивает себя, но успокоение не приходит. Помнит — тот случай перед наступлением был, а тут передышка, и команда была ясная: доставить в штаб.

«А если они убежать хотели? Ну, если побежали! Тогда убить их самое правильное. Может, они разведчики, может, на это и рассчитано. Раз бегут, значит, враги... Это — если бы кадыкастого рядом не было. Расскажет ведь, сука. Вон, глазами стреляет, смотрит себе под ноги, в пыль дорожную, да думку думает. А думка, поди, одна: как Есаулова заложить. Нет уж, хрен тебе, на Есаулове в рай не въедешь».

Снова звенит жаворонок. Тот же. Отремонтировали кузнечики ему струну, и вот спешит он опробовать ее, взвился в синеву и захлебывается оттуда переливчатой трелью, всю округу обсыпал. А тут и ласточка откуда ни возьмись — шасть через дорогу! Напарник замедляет шаг, вскидывает голову к небу: где ты, серая птичка, чему радуешься?

Тень от него, постоянно маячившая перед Есауловым, вдруг исчезает. Есаулов вздрагивает и оборачивается. Кочерга идет медленными мелкими шагами, загребает кирзухами пыль и смотрит в небо. «Жаворонка смотрит, от дурак!»

Напарник и впрямь высматривает жаворонка, но еще вполглаза следит за Есауловым. Он видит, как тот вздрагивает, как быстро и зло оборачивается. Такой, стало быть, вопрос.

И тут молодой отмечает, что не помнит, дослан ли у него патрон в патронник. Он оставляет жаворонка — пусть себе смотрит в пристальные глаза Есаулова. Кажется, дослан... «Чему учил старлей в учебке? А старлей учил: вставил диск, дошли патрон - и на предохранитель. Предохранитель — святая святых!» Он незаметно ощупывает левой рукой планку, автомат на предохранителе. Значит, патрон в патроннике. Конечно же, в патроннике!» И тут высвечивается в памяти: и как проснулся, и как его Есаулов нашел, и как он автомат готовил. Легче стало. Вроде. «Есаулов что-то совсем захмурел, о чем думает, интересно?»

А Есаулов идет и пасьянс раскладывает. Может, он и слова-то этого не знает, но раскладку делает. А раскладка не получается, мешает кадыкастый, сбивает все, и хоть ты што!

«Расписки штабной нету, а должна быть. Шаповалов — жох, накидает вопросов, и все проявится.

— А кому, — спросит, — пленных передали, а в каком звании, а росту какого, а масти?

И пошло, и поехало, штабников-то Шаповал всех почти знает.

Конечно, эти вопросы можно продумать, не первый год замужем, штабников-то и Есаул знает, да только Кочерга врать не станет, зачем ему врать-то. А может, его и не спросят, а — спросят? Скажет все, как было, и крышка тебе, Есаул... Поставят к осине, и одиночным, чтобы экономно, Есаул, экономно! В затылок... А вот когда череп лопается, слышит это человек или нет? Когда оглоблей звезданут, то слышит, а когда пулей?.. Ну и мысли!»

Он цыкает сквозь зубы на дорогу — слюна густая, цыкается плохо — и смотрит на придорожные сизые от пыли лопухи. Ему чудится, что над лопухами тень проходит. Странно, в небе ни облачка.

Тень эту и кадыкастый замечает. А может, это мерещится обоим, и нет ничего на самом деле, может, это ветром листы шевельнуло. Может, и ветром, а может, и тень.

Души расстрелянных совершенно невидимы, прозрачны. Это если сквозь каждую душу смотреть в отдельности. Если же их совместить в колонну и посмотреть сквозь, то прозрачность нарушится. Солнечные лучи в них увязнут. Тогда и появится легкая тень, как от ласточкина крыла, — шасть только... Может, это она и была, тень-то, может, ее и заметили автоматчики? Может, и ее.

Наконец кадыкастый нарушает молчание.

— Как звать-то тебя? Все молчишь и молчишь...

— Меня-то? — Есаулов останавливается. Останавливается и кадыкастый. — Меня-то? А Петром зови... Петром Тимофеевичем.

— А меня Андреем, фамилия — Сохань. Андрей Сохань, — напарник фамилию свою назвал твердо и ударение подчеркнул — на «о».

— Вот и познакомились. — Есаулов хочет улыбнуться. Получается плохо, натянуто. Он пытается завязать разговор. — А ты молчун, однако, в сутки десяток слов — по норме, што ль?

— Из тайги я. Не привык к словам.

— А-а... Не привык так не привык... — разговор не вяжется.

Они стоят друг против друга как раз посреди всего — посреди степи, посреди дня, посреди войны и, в конце концов, посреди России. А между ними лежит полоска пыльной травы, той самой непокорной травы-муравы, которую испокон веков бьют на проселках копытами крестьянские кони, никак не выбьют.

— Не жалко мужиков-то? — это Андрей.

— Не жалко. — Есаулов проводит ладонью по подбородку, по высохшим и от того побелевшим губам. — Черт, утром брился, а борода уже как наждак... Не жалко. Нашел тоже мужиков. Это мы с тобой мужики, а они — фрицы. У немцев не бывает мужиков. — Он прикусывает нижними зубами верхнюю губу, мгновение молчит и добавляет. — Все равно им труба...

— Все равно не все равно, а без суда нельзя. — Сохань передергивает кадыком, как затвором, и упирается глазами в Есаулова. Он волнуется. Есаулов это замечает, в нем крепнет мысль: «Расскажет салага. Вот незадача».

«Ну что ты, Есаул, разве это новость для тебя? Знаешь ты об этой незадаче, знаешь! Не ее ли решаешь битый час, да только не раскладывается пасьянс. И не разложится».

Так думает Есаулов номер один, а Есаулов номер два знает, что все разложится. Второй Есаулов давно уже не сомневается в этом, решение само придет — до фронта далеко, идти еще и идти, мало ли что дорогой случится.

И все-таки:

— А мы с тобой — это разве не суд? Вот решим сейчас, что убили их при попытке к бегству, и кто нас проверит?

— Они не убегали, они сами в плен сдались, зачем им бежать? — Сохань не понимает намека или делает вид, что не понимает. Если последнее, то очень искусно.

— Да ты дурак, парень! Ну не бежали, а ведь могли и бежать.

— Могли, да не бежали.

— Ха! Я ему про Фому... Ты знаешь, что мне за это будет?

 Сохань молчит. — А за самосуд мне будет вот что, — Есаулов проводит большим пальцем правой руки по горлу и вверх. — Пинчикрекс называется.

— Значит, теперь ты должен убить меня.

Он говорит эти слова так спокойно, что Есаулов вздрагивает.

Жаворонок звенит, как взбесился. Солнце. Пахнет теплыми полынями. Степь совершенно голая, никого. Стоят на проселке друг против друга два русских солдата, утром еще незнакомые, а в два часа пополудни уже враги, и разделяет их узенькая полоска травы, той самой... Стоят два солдата, сжимают ладонями ремни автоматов, смотрят в глаза друг другу и, как разойтись, не знают. Затекли пружины в автоматах...

— Почему это — убить? — у Есаулова голос вдруг охрип, будто в горле пересохло. Теперь он кадыком передергивает. Сохань это замечает.

— Потому что они не бежали... Потому что кровь их безвинная, а такую кровь только другой кровью смыть можно — либо чужой, либо своей. Свою тебе жалко. Вот.

— Ну, раздул кадило... Брось эти мысли и пошли давай, нам еще топать и топать. — Есаулов улыбается и чувствует — улыбка получилась. Это хорошо.

Затем он коротко машет рукой, как бы приглашая в путь, резко поворачивается на девяносто градусов, почти по-уставному, и твердой походкой идет в прежнем направлении. Он идет и жадно слушает. Во время разговора заметил Есаулов, что автомат у напарника стоит на предохранителе. «Будет щелчок, нет?» Щелчка нету. Нету и нету... «Проклятые нервы! Голос-то как просел, как у молодого петуха. Заметил ли? Наверно, заметил. Вот тебе и молчун, вот тебе и из учебки... Ах ты, Кочерга! Нехорошо, что впереди иду, кстати, и шагов что-то не слышно». Ухо Есаулова жадное, проявись желанный звук — тут же отметит, но звука нет, даже шагов не слышно — стихли. Он идет и идет. Он знает — дорога у них одна. И все же не выдерживает, оглядывается.

Сохань далеко. Он уходит в сторону фронта прямо через степь, почти перпендикулярно дороге. Дорога потом свернет, наткнется на речку и свернет, они еще утром обратили внимание на этот крюк, но это будет нескоро, к тому времени Сохань намного опередит Есаулова. Как плохо получилось! А может, и неплохо, а? Думай, Есаул! Быстро думай!

Есаулов прикидывает глазом расстояние и передвигает ползунок прицельной планки. Расстояние пулевое! То, что нужно, — Есаулов не сомневается в себе. Сохань шагает не оглядываясь, мосласто размахивая правой рукой. «Кочерга! Как утром надел автомат на левое плечо, так и не сменил ни разу». Длинная фигура его четко обозначена. Хорошо видна пилотка, небрежно сдвинутая на затылок. Старики так пилотки не носят. Взгляд Есаулова остр.

Он становится на правое колено и привычно совмещает в прорези мушку и спину уходящего. Очередь должна быть короткой, в два патрона, как в тире. Уже указательный палец плавно ведет спусковой крючок, уже привычно замирает все в груди, когда три души, те самые, выстраиваются в колонну между стрелком и целью. Есаулов вдруг замечает, что он не видит мишени. Вместо четкого силуэта обозначилось серое размазанное пятно. Зрение его никогда не подводило. Есаулов протирает глаза, сдвигается интуитивно вправо и целится снова. Контур уходящего человека опять четок. За какую-то долю секунды до выстрела цель снова размазывается, снова превращается в серое пятно, но очередь уже не остановить.

— Ту-тук, — две пули, одна за другой, прошивают бездомные души и улетают за четвертой.

Есаулов видит, как Сохань останавливается, тянет с плеча автомат, разворачивается лицом к стрелявшему и падает на спину. Все это так мед-лен-но! Не слышно, как он грохается длинной своей спиной о земной шар, и тем более не слышно, как щелкает планка предохранителя.

Стрелок встает. Отряхивает с колена пыль. У самых ног его ласточка — шасть, почти сапог касается.

Убийце всегда хочется посмотреть на свою жертву.

Сохань лежит на спине, широко раскинув ноги. Голова запрокинута, кадык торчит, правая рука под себя подвернута, левая отброшена, сжимает автомат. Внимание Есаулова задерживается на подошвах сапог: изношенные, они светятся желтыми шляпками гвоздей и кажутся такими ветхими, такими неземными. «Вот и все, Кочерга! Какой день поганый выдался... Ишь ты, автомат-то как зажал, аж пальцы с...»

Есаулов не успевает додумать, договорить. Он вдруг все понимает, он стонет от досады, рвет с плеча автомат, но поздно. Очереди нет, звучит одиночный выстрел — тук! Пуля бьет Есаулова в правое плечо и разворачивает его. Чуть-чуть. Он роняет автомат, сгибается от боли и левой ладонью зажимает мокрое. Кровь стучит сквозь пальцы, рукав гимнастерки быстро темнеет.

— Я же говорил, что тебе свою жалко.

Сохань стрелял с левой руки, как из пистолета. Старлей учил такой стрельбе. Хороший старлей. Сохань — левша. Есаулов об этом не знал, да разве в этом дело.

Потом Сохань разорвет нижнюю свою сорочку и перевяжет Есаулову рану. А еще потом с места последнего события в разные стороны уйдут: в сторону фронта — два русских солдата, а в сторону расстрелянных пленных — три души...

Июль, село Кухновское.

Есаулов разбудил нас в шесть утра, как раз перед побудкой. Слышу голос:

— Мне писаку вашего!

Это он с нашим дежурным. Встаю быстренько, похоже, прочитал, иначе чего бы так рано приперся. Кстати, Есаулов уже мне не нравился.

— Серега! Иди, водовоз твой пришел, — это дежурный. Есаулов после читки моего рассказа и ребятам не нравится.

Я умылся, вышел на крыльцо. Заря вполнеба. На детском буме, низеньком и сильно подгнившем, спиною к школе сидит Есаулов. Трава в росе. Прохладно.

— Здравствуйте, Михаил Ерофеевич, — мне очень уж хочется, чтобы рассказ походил на правду.

— Брехня все это, Пушкин! — лицо у водовоза помятое и злое. Он потряс листами, аккуратно свернутыми в трубку, и встал. Встал, но тут же сел.

— Да я не говорю, что правда. Хоть похоже?

— Похожа, похожа... Свинья на ежа, да щетинка не та. Слыхал?.. Напарник первый в меня пальнул, первый! А ты что пишешь, да еще — в спину. Это раз, — он встал, выпрямил указательный палец. — Потом, вот... э-э, — он раскрыл листы и, отыскав нужное место, прочитал: «... идет и пасьянс раскладывает». Это что за хреновина?

— Это игра такая в карты, пасьянс называется.

— Во-во, я так и подумал. Я в эти карты ни в жисть не играл, кроме как в дурачка. А ты што!.. И не в степи это было. Потом души какие-то, ты богомольный, што ль?

— Ну могло бы и в степи…                                                      — я на души не отвлекаюсь. Что ему души?

— Могло... Как же! В степи все видно, в степи своего стрелять — это тебе не в лесу, где сумрак... Убил-то я пленных в Литве, а там леса кругом. Потом мы на хутор зашли, там и разругались. Посля, когда уже от хутора с километр отошли, он в меня и пальнул... Первый!

— А вы, Михаил Ерофеевич, а вы?

— Отстань... — Есаулов умолк и нахохлился.

Вот тебе и водовоз! Кокнул, значит, напарника. Выходило, что так, а как иначе, если пальба пошла, если узел смертно завязан?

Он опять сел на бум, уже солнце из-за кустов вылезло, уже ребята с крыльца два раза махали — айда завтракать, а он все сидел и сидел, нахохлившись, как серая тяжелая птица...

Наконец я спросил:

— А Шаповалов?

— Это кто? — Есаулов очнулся.

— Ну капитан ваш, ротный.

— А-а, Рябинин-то... Откуда ты на мою голову свалился? Писака чертов!

— Как откуда, Михаил Ерофеевич? Это ж вы меня заставили писать. Поубивали пленных, напарника вот... Я-то здесь при чем? Просто захотел с вами посоветоваться, может, чего и подскажете. Про сумрак я как-то не догадался, мне казалось, что все на свету должно бы быть, чтоб все это видели — и жаворонок, и ласточка — и чтобы вы обязательно промахнулись, а напарник бы вас — чик, и живого в роту привел... Ну, как в рассказе.

— Ох, шустрый какой... В роту! А кто бы тебе тогда про это рассказал?

— Да уж... Но все-таки Шаповалов догадался или нет?

— Рябинин!!!

— Пусть Рябинин, Михаил Ерофеевич, пусть. Догадался или нет?

— Без догадок узнал, когда связь со штабом наладили. Звонил...

— Ну?

— Баранки гну! — Есаулов матерно выругался. — Ишь чего захотел. Погиб он, погиб. — И раздельно: “В бо-ю!.. “

— Ну дед! Ты ж преступник, дед! Как живешь?

Есаулов молчал.

— Давай сюда рассказ! Еще сто лет жить собрался!

— Рассказ? А вот не хочешь, — он сунул в мою сторону кукиш. Ноготь на большом пальце желтый, грубый, в крючок загнут. — А вот тебе, вот, — он вскочил и, развернув трубку, разодрал всю пачку на четыре части (а я-то старался!). Разодрал и обрывки в карман сунул. Сунул в карман и медленными тяжелыми шагами пошел со школьного двора. Около ворот остановился.

— Не было этого, слышишь, не было! Все выдумки!.. Собачьи!..

Когда я вернулся к ребятам, каша уже остыла.

— Ну что дед? — Олег правил оселком топор.

— Говорит, что брехня это. Говорит, нельзя в степи убивать. Видно, говорит. Считает, что лучше это делать в лесу, там сумрак...

— Ну и дед!

— Ага... дед... напарника кокнул, признался. Где-то в Литве, говорит. И ротного, похоже...

— Вот! — Олег хлопнул себя по колену и отложил топор. — Вот! Я же говорил, что что-то в твоем рассказе не то. Понимаешь, матерый вояка, с гвоздем в башке и... промахнулся. Нельзя ему промахиваться...

— И пусть нельзя, — я отхлебнул холодного чаю. — Андрея убивать не буду. Понимаешь, убью Андрея, значит, надо и Шаповалова убивать... Цепочка-то связана. А там еще прицепится кто-нибудь. Пусть уж лучше Есаулова растрибуналят.

— Конечно, пусть, — Олег усмехнулся. — В баньку пригласил, убивец.  Веничком! Бр-р... Подъем, бригада! Три венца заведем и за стропила возьмемся...

Коровник близился к финалу, завели венцы, вывесили стропила. Водовоз мимо нас больше не ездил. Рассказ я перебелил еще раз, менять ничего не стал. Про речку не забыл. Там же, где дорога крюк делает, и прочертил ее. Речушка... Узенькая такая. Ну и ладно, пусть узенькая, главное, чтобы ласточка напиться могла.

А рассказ мой тогда не напечатали. Я его в «Звезду» носил. Сначала приняли, похвалили, а потом отказали. Нетипично, мол...